

СОДЕРЖАНИЕ

Век мой, зверь мой

Глава 1	6
Глава 2. Плюсquamперфект	24
Глава 3	38
Глава 4. Моя гумилевская весна	66
Глава 5. Мы покидаем Петербург навсегда	101
Глава 6. Киев	117
Глава 7	153
Глава 8	170
Глава 9	190
Глава 10	210
Глава 11	228
Глава 12	252
Глава 13	272
Глава 14	293
Глава 15	307
Глава 16	329
Глава 17	341
Глава 18	353
Глава 19. Ваша семья	369
Глава 20. Фуга Крлежиана 2	384
<i>О. Р. Демидова. Воспоминания как зеркало жизни</i>	426
Комментарии	447
Указатель имен	521

ВЕК МОЙ, ЗВЕРЬ МОЙ

Какое, милые, у нас
тысячелетье на дворе?¹
Борис Пастернак

Глава 1

О, дайте вечность мне, и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.
Иннокентий Анненский

И когда я умру, отслуживши,
Всем живущим прижизненный друг².
Осип Мандельштам

Когда мы поднимались на горы, гуляли, бегали на лыжах, ты³ то и дело тормозил меня: «Опять помчалась!» Но затормозить меня даже тебе не удалось. Так и с этими воспоминаниями. Напечатано больше тысячи страниц — пять больших сброшюрованных томов, но вот, приступая к последнему, начинаю с начала. Будто еще одну жизнь выиграла в лотерею! В девяносто лет, да еще с плохим зрением! А русской машинистки днем с огнем не сыщешь.

«Медленнее! Выдохнешься!» — говорил незабвенный друг. А как Евгений Иванович Замятин просил не торопиться! Об одной из моих книг сказал в письме: «Опять не Вы Пегаса оседлали, а он Вас!»⁴ — и я, как воочию, в письме увидела его незабываемую и неповторимую, как ящерица юркую улыбку, что шмыгнула от правого прищуренного глаза к левому уголку рта.

А Федин, в те далекие, почти невообразимые времена, когда был еще Фединым и «Серапионом», а не государственным мужем Эсесера⁵, просил класть левую руку на правую, и как только та помчится, цукать ее назад. Но такую длинную и путаную жизнь рассказать — да на фоне какого века! — сдается мне: и двух жизней не хватит. Сам Бог велит спешить. Даже ты, мой Божидар, такой выдержанный и сдержанный, даже ты на шестидесятом своем году заторопился — когда наш сад разбивал, в Яне-над-Моржем⁶, тут, в Швейцарии. Все искал деревья для пересадки повыше, кроны пошире, кусты, зацветающие не только

весной... И тебе была знакома паника сроков! Да, ну что! Кто не боится расписания поездов?

— Что вы так спешите, будто на вокзал? — спросил тебя лесник, привезший твой заказ.

— Да почти так и есть, мсье Метраль, хотел бы увидеть эти ваши веники березками... А яшень! Ему двадцати лет мало, чтобы стать деревом. Не доживу!

— Не доживете, пожалуй. После вас кто-нибудь, мимо проходя, вспомнит, что вы его садили. Сад в одно поколение! Да еще в вашем возрасте! — пожал плечами и махнул рукой на твою городскую спешку.

А сад дружбы ты с юности сажал со взрослой мудростью: ни благодарности, ни плодов не ждал. Когда я раз, обидевшись на тебя по какому-то поводу, сказала: «Люди не верят доброте», — ты рассердился: «Нашелся судья! По-твоему, что, дружбой выслуживают ордена и отличия? И кто говорит? Человек, швыряющийся своим временем и чувствами, как нечаянный миллионер».

Когда мы в 1965 году должны были дом в Яне продать, я грустила втихомолку, а раз даже сказала:

Wer jetzt kein Haus hat
Bauet sich keines mehr...^a

— Помнишь то иллюстрированное письмо Марко Ристича^b со строкой из Рильке... не надо думать, теперь поздно — дом в стороне от дороги построили! Мы почти старые, а все еще не взрослые.

Покидая его навсегда, ты не на дорогу смотрел, вновь расстелившуюся перед нами, а на твой сад в автомобильном зеркальце. Как часто, годами, после продажи дома, ты просил меня: «Съездим в Ян — посмотрим, как там наш сад...» — «Не наш он больше, и я не люблю оглядываться назад». Догадался ты, что не себя, привычную к разлукам и потерям, жалела, а тебя, родной?

^a А кто бездомен, будет им и впредь,
Кто одинок, тот должен им остаться...
Перевод Сальмона⁷.

^b Марко Ристич — поэт-сюрреалист, блестящий эссеист и собеседник, воспитанный в романской Швейцарии, ранний сподвижник и друг французских сюрреалистов, послепослевоенной Югославии в Париже (1947–1950 гг.). Письмо, о котором речь, находится с частью нашего архива в S.U.N.Y.A. (State University of New York, Albany).

* * *

В июле 1976-го, через месяц после твоего ухода (не могу еще назвать своим именем то, что случилось), снова укладывала книги, сжигала или выбрасывала письма, раздавала все, без чего можно доживать. Работала на полу, чтобы не видеть еще одну, предстоящую мне дорогу. Когда присаживалась на картонки с книгами, перевести дыхание, дорога тут же возникала: длинная, пустая, теряющаяся вдали... И я видела себя на ней: погорелица, вдова моряка, не вернувшегося домой... Приехала знакомая из Парижа — погоревать со мной. Не знают люди, что нет в мире ничего неделимое горя!

В какой-то момент ей вздумалось повезти меня в Ян над Моржем — посмотреть на наш дом и сад, воспоминание о которых как раз в те дни отпало, как отсохшая болячка. Я не хотела. А к вечеру подъехали еще двое: Морис Блан и Верена Шох, и сообщая уговорили меня ехать поутру в Ян. И вот я стою подле нашей «собственноручной изгороди», озираюсь на твой прекрасно разросшийся сад. Не прав был лесник. «Что вы?! Сад в одно поколение!» А дом новые владельцы изуродовали, да как быстро! Впрочем, для того и нескольких часов достаточно. Я не заметила, что плачу. Не заметили и они, увлеченные разговором, конечно обо мне, считая своим правом, как полагается при таких обстоятельствах, решать за меня мою судьбу. Мне казалось: вечность стоим — их трое, я одна, поодаль. Они, разговаривая с Сюзанн, а я, сквозь слезы, с тобой невидимым. Ты появлялся — то под откосом, то подле твоих тюльпанов, которым так радовался. Мы с тобой были такие невежественные садовники, что радости ждали нас на каждом шагу... На мгновение я увидела тебя с зеленым шлангом для поливки; ты начал отматывать его и исчез... Зачем я уступила и приехала сюда? Где ты? Может ли быть, что тебя больше нет? Тут мне вспомнился петербургский трамвай, на котором я ехала куда-то с Гумилевым по Гороховой. Это был случайный трамвай, как все в восемнадцатом году⁸. Гумилев не то сочинял, не то проверял голосом строфы уже тогда зачатого или уже готового «Заблудившегося трамвая»⁹. Его изумление перед лицом смерти поразило меня; в восемнадцать лет о смерти думают другими словами и образами... В огромном списке «почему, как и зачем» причинность смерти не на первом месте. А тут мое «может ли быть, что тебя, родной мой, нет» напомнило мне строфу поэта:

Машенька, ты здесь жила и пела,
 Мне жениху ковер ткала,
 Где же теперь твой голос и тело,
 Может ли быть, что ты умерла?¹⁰

Через два месяца после этой страницы исполнится 56 лет со дня убийства Гумилева и точно столько же со дня нашей с тобой первой встречи. Поэт погиб в Кронштадте¹¹, мы встретились в Загребе — в том же месяце и году¹² — все даты у меня какие-то роковые, каббалистические — круглые. Я захлебнулась слезами вслух, вроде как бы икнула, да так сильно, что и сама испугалась и побежала, не оглянувшись, к автомобилю, бросила друзей, оставивших все свои дела, чтобы привезти меня сюда. Правда, насильно, но это не был единственный из добрых поступков, погибших в море человеческих недоразумений. Я была бы куда спокойнее дома, разрывая в клочья наше последнее гнездо, как та уставшая, исхудавшая синица под навесом, над террасой в Яне. Четыре птенца храбро вылетели из гнезда, а пятый, трус, вылезет на балку, постоит и тут же лезет назад в гнездо. Только побуждения у нас с синицей разные — у нее педагогические, а у меня практические: как я столько втисну в предстоящее мне бобылье жилище?

В начале мая ты вдруг заговорил, мучительно, прерывисто, едва вырывая слова из пересохшего горла: «Через месяц, или немного больше, 50 лет... быстро прошло... в Вену не сможем... зря весь год соби-
 рались...¹³ нет человеческих планов; планы — дело судьбы... Может быть, в Ян?...» В ту ночь, задремав в кресле подле твоей кровати, я не-
 сла тебя на руках, прижимая к груди, как больное дитя, с такой силой тоски и отчаянья, что, очнувшись, уже не догадывалась, а знала, что до Яна я тебя не донесу, что суждено мне увидеть твой сад без тебя. Я не хотела, но друзья на поминках лучше знают, что хорошо, а что плохо для вас: не умнее ли они оказались, перехитрив смерть? Прости, мой единственный, незабвенный друг, что не помогла тебе взглянуть на твой сад. Отняла у тебя такую необходимую умирающему крупницу бессмертия. А что назад оглядываться нельзя, я и теперь думаю. Помнишь, когда в 1947 году мы приехали из Нью-Йорка в Загреб, впервые после шестилетнего отсутствия¹⁴, в каком страшном молчаньи смотре-
 ли мы на пустой балкон твоего родительского дома? Мы видели

их незримых — как я тебя в саду в Яне — это было созерцание пустой рамы с мысленной проекцией изъятых портрета... они с балкона провожают нас; прощаются медленным, королевским движением руки, напоминающим маятник. Потом отец привычным жестом обнял мать за плечи и увел в дом, чтобы не простудилась, а мы после шести лет разлуки все еще глядели вверх, не веря, что все кончено, что отец умер в Загребе в 1943-м, в разгар войны, что за его гробом не сыновья вели мать — черную пташку под крылом вдовьего крепа (как съезжилась, скорчилась статная, страстная, на первый взгляд надменная твоя мать!). А после войны через весь земной шар перелетела вслед за тремя из четырех сыновей, чтобы приземлиться и кончить свои дни в уму непостижимой Южной Африке¹⁵. Если б такой несуразный сон рассказал один из нас за семейным еженедельным обедом, всем столом расхохотались бы. Но быть смелее выдумки. Я тебе, незабвенный друг, после той нашей встречи с неузнанным и не узнавшим нас домом стихок написала:

Дом без души,
Дом без лица,
Дом без начала,
Дом без конца,
Без ни шажков,
Без ни смешков,
Без ни друзей, без ни врагов,
Без ни привычных семейных оков,
Дом, как соседский — не отчий кров.

Для такой тоски опустевшего родительского дома, или по вымоленному, вымечтанному и тоже потерянном домике в Яне, сила слова нужна не моя, а Цветаевская — как она о столе письменном, так и не вымечтанном, обиду то срывая, то скрывая, все его подмены и замены перечисляя: кухонный, садовый, столовый, подлокотный... «а паперть, а край колодца, а старой могилы пласт»¹⁶. Где мне такая сила?!

Божидар, снилось нам, что было у нас и свое, наше жилище, и родительский кров до того, и сколько после домов переменили! А Марина Цветаева не только стола, убежище себе не вымолила! До собственно-ручно затянутой петли бездомная, бесстольная! А кто лучше ее и родительский, и дом старого Пимена описал?¹⁷

В Яне мы любили наше уединение — одну жизнь на двоих, а в родительском доме диаметрально противоположное: общность, принадлежность. Родительский дом был светлой гаванью, мы приплывали туда рыбками, налетали стайками, тучками, чайками — на корм родительской любви. Она одна могла спаять таких разных, чужих и чуждых, в дружную семью. Сказка, донесенная из детства? Кажется, я одна, рано познавшая потери и разлуку, знала: умрут родители, и останется груда недолговечных воспоминаний. Но недалек день, и ей конец! — однофамильцы в телефонной книге! Вот почему, незабвенный друг, я не любила возвращений; ни ты дома, ни дом тебя не узнает! «You can't go home again»^{a 18}. Хороший писатель Томас Вульф! Одно это название чего стоит?! И все же я была неправа: если бы мы съездили в Ян, ты в смертный час смотрел бы не в черную бездну небытия, а в твой цветущий разросшийся сад, и я бы хоть так участвовала в твоём страшном поединке со смертью, куда ты меня не впускал: все прятал за закрытыми веками! Так, почуяв конец, прячутся чуткие звери и птицы, большие собаки, прожившие жизнь с людьми — смерть частное дело! Недели за две до конца один из врачей решил: «Исследование радиоизотопами, клиника Нестле в Лозанне!» Какая от того польза обреченному — не объяснил. Правда, Америка своих, к электрическому стулу приговоренных, лечит до последней минуты: долг гуманности один, а палача другой! И вот ты идешь после исследования радиоизотопами вдоль длинного коридора клиники Нестле — прямой, прозрачный, красивый уже неземной красотой, в почти белом дождевике, в серебре непомерно отросших волос, слегка опираясь на зонтик, как на трость. Вижу, на паперти поджидавшая тебя нищенка, как ты отклонил руку сиделки: спасибо, мол, я могу без помощи... И улыбнулся бледно, а улыбку эту, замерзшую на бледных губах, ты донес до меня и сказал спокойно: «Мы давно все угадали. Раньше всех врачей — странно». Заорать бы на весь мир: «Остановитесь! Довольно скармливать чудовищу Раку столько!»

* * *

В августе 1921-го я вошла впервые в этот ваш семейный дом, перед которым мы стояли в 1947 году — неузнанные и не узнавшие его. А первая наша встреча наедине состоялась осенью 1922 года в вашем поместье,

^a «Домой возврата нет».

разбросавшемся на одном из семи холмов Загреба, наподобие, но не под стать, римским. Мне нужны были учебники по предстоящим стипендиатам зачетам по истории права — римского, германского, хорватского, которые ты сдавал за год или два до меня. Ты мог принести мне их на дом или в университет, где мы столкнулись несколько раз и, шагая по длинным коридорам, разговаривали, как друзья; или у вас дома, где я бывала раза три в неделю, занимаясь с твоей младшей сестрой. Но все эти три варианта нам показались почему-то ненадежными.

Так зародилась самая опасная возможность — встреча в усадьбе.

Идти надо было далеко, но ехать на трамвае не решилась, боялась встретить кого-нибудь из знакомых, да и кончался трамвайный путь там, где был нужнее всего, — у подножья горы, по которой шла дорога к поместью. Плохо утрамбованная, она осыпалась камешками, гравием, какими-то осколками, скатывалась в мои расхлябанные туфли. Приходилось часто останавливаться, вытряхивать их, да заодно из мозга постыдное слово «свиданье». Ведь как ни верти, а замужняя женщина и мать¹⁹, я шла на свиданье с молодым человеком, правда, проявлявшим свои чувства только типичным для своего возраста подтруниванием надо мной, особенно в присутствии посторонних. В какой-то момент усталости и досады я свалила вину глупой и опасной затеи на тебя — баловня судьбы, который, как бы умен ни был, не сможет понять, на что и куда я шла. Впрочем, на что я шла, я и сама не знала, а куда — точно: на лобное место и позор. Я начала допытываться у Бога: знала я, хотела я того? и действительно ли обрекаю себя на беду? Но ответа от Господа не получила, как никто до меня, а вероятно, и после. Ну да, я шла на свиданье! как ни верти, пандектами римских юристов и всей совокупностью римских сервитутов²⁰ оправдать меня было невозможно.

Я остановилась неподалеку от вашего поместья, раздумывая, можно ли мне дойти до конца и этой дороги: и сомнений, и опасности? С этими мыслями — хорошо помню — вошла в открытые ворота и стояла посредине площадки с пустым фонтаном, где глупо и неуклюже торчала водопроводная труба. Тебя нигде не было, и мне стало страшно наедине со своими мыслями, — хоть повернись и беги! И сесть даже негде — на открытой веранде была нагромождена вверх ногами садовая мебель. Зачем я тут? Что я тут делаю? У меня есть свой угол, муж, сын! Что полковник делает в Париже? Там ли вообще? Почему поехал туда

ни с того ни с сего, на какие средства, как раздобыл их, где? А паспорт и визу? Будто я не знала, как трудно, почти невыносимо путешествовать, — нам, ничейным, нам, нансеновским²¹, нам, всем уже наскучившим! Вдруг сорвался с диванчика, на котором сидел, сосредоточенно о чем-то думая, встал решительно и выпалил: «Еду в Париж». Это было третьего дня. Два дня молчал, собирался, а сегодня на рассвете уехал, прощаясь с отчаянием солдата, уходящего на фронт, моряка, жалеющего семью, потому что знает: едва ступит ногой на палубу, как память о доме и семье захлестнет первая волна. Но полковник уезжал не виновато, а высокомерно, мне показалось²².

«Откуда деньги?» — спрашивала я себя вот уже третий день. Зачем поехал? Одно было ясно: он выполнял какое-то задание... никаких дел у него там нет, разве что не в Париж он уехал, а куда-нибудь поблизости, чтобы проверить мое поведение в его отсутствие? Утром, в день того моего первого в жизни свидания (ну да, иначе не назовешь) я решила, что поехал он действительно в Париж и что поездка эта связана с Ниной Потоцкой — их вечными разговорами в стороне от других. Нина была одной из двух геддовских^a гимназисток, с которыми я встретилась в Загребе (вторая была Ольга Авринская), и мы, хоть и не совсем ровесницы и не одноклассницы, подружились на чужбине. Нина была вдовой гвардейского офицера, расстрелянного на юге России незадолго до отступления, ей было лет двадцать шесть, Ольге Авринской — двадцать три, мне — двадцать один, и мы с Ольгой считали ее взрослой по сравнению с нами. Никто, даже, казалось, полковник, не знал подробностей гибели мужа Нины; расспрашивать не могли, а она только раз сказала — голосом и тоном присяги: «Я отомщу за него, будьте уверены!»

«Кому?» — спросил после ее ухода один из присутствовавших однополчан мужа.

«Что в имени его? — парафразой Пушкина²⁴ сказал другой. — Впрочем, кажется, ясно: убийцам мужа».

«Простите, капитан, — настаивал первый, — на юге каждый месяц власть менялась после ухода Скоропадского^{b 25} и оккупантов, а какой

^a Гимназия Гедда — одна из пяти наиболее престижных женских гимназий Санкт-Петербурга²³.

^b Скоропадский — гетман, правитель Украины.

масти бандиты его расстреляли — в исторической перспективе совершенно не важно». — Последние слова он произнес с аффектацией петербургской скупливости.

Чем дольше я раздумывала, тем скорее причастность Нины к отъезду моего мужа представлялась мне единственным объяснением. Я не сказала тебе, мой Божидар, о его отъезде: вмешивать тебя в дела моего мужа, даже разговаривать с тобой о нем я считала неloyальным по отношению к мужу и слишком интимным для наших с тобой отношений. Ведь даже в его отсутствие я не приняла бы тебя у нас. Мы жили в курии католического священника, в реквизированной для нас жилищным управлением двухкомнатной квартирке «хозяйки»^а каноника М., на улице, ведущей от кафедрального католического собора в небесную высь и застроенной одноэтажными старинными домиками для служителей хорватского Ватикана. Вселить иностранную, да еще православную семью в курию католического священника считали в городе вызовом католичеству, явной провокацией со стороны «несомненно какого-нибудь власть имущего “сербенды”»^б. И нас ненавидели всей силой утробной ненависти, всем раздражением неудавшегося, в Версале заключенного брака хорватов и словенцев с сербами: всем одноэтажным домиком и домочадцами каноника М., всем его куриным двором, желтым щенком, на нас одних тывкавшим, и желтоглазой кошкой. Не говоря о «хозяйке» и «племяннице». Появление у меня молодого человека в отсутствие мужа погубило бы меня, но спасло бы «хозяйкину» квартиру от блудливой овцы! Очистить от нее безгрешное жилье Божьего служителя сам епископ не отказался бы помочь.

От всех этих мыслей у меня отчаянно заколотилось сердце, да в придачу я завидела издалека твою изящную, всегда элегантную фигуру и твою неповторимую, такую легкую, но твердую походку, по которой все тебя узнавали издалека. Едва поздоровавшись, ты сказал, что принес мне не только книги, но и интересную новость: ты узнал из венских газет, что Горький уговаривает Ленина объявить широкую амнистию русской интеллигенции, желающей вернуться на родину²⁸.

^а Обычно сожительница католического священника.

^б Бранное слово сербское²⁶. Сербохорватский медовый месяц кончился почти сразу же после Версальской конференции мира и окончательно в январе 1929 г. введением королем Александром диктатуры²⁷.

В начале двадцатых годов в Берлине, Париже и Праге — в чадущих тесных убогих жилищах беженцев или за крошечными столиками плохоньких кафе прозябали многочисленные представители русского искусства и науки, на кофейной гуще гадая, где хуже: тут или там? Где лучше, гадать не могли, уверенные, что такого места нет для них на земле. Выбор был — какое зло меньше: бездельничать, впроголодь жить, но иметь право орать, когда орать не о чем (да и никто никого в те дни не слушал), или вернуться — зажить привычной, но оскудевшей жизнью, делать привычное, тоже обнищавшее дело, но не только орать — рот открыть — ни-ни! воды в него набрать!

«Я помогу вам съездить в Вену — там в советском посольстве подадите прошение о реабилитации. Вернитесь с сыном на родину, если смею советовать... ведь смею?! — вы сказали намерения, что я ваш лучший друг. Спасете ребенка и себя». Не помню, была ли я удивлена альтруизмом его совета, обижена за этот альтруизм, опровергавший мои тайные догадки о его чувствах ко мне, но я молчала. Он, конечно, догадался о причине моего молчания, сказал удивительно просто: «Если наша дружба вырастет в разлуке во что-то другое...» Он оборвал, помолчав, добавил: «Ведь сейчас бескорыстная она или бесполоая — все равно! Вам, по крайней мере, должно быть все равно, чтобы не взвалить на себя еще пуд сложностей. Сознаться, что, избалованная с юности успехом, вы немного обижены и потому молчите». Я не созналась, а расплакалась, тихо, но слезы катились по лицу, а он вытащил платок из пиджачного верхнего кармана и утер их, и даже, к стыду моему, вытер мне нос.

Теперь мы стояли друг против друга подле окна его комнаты. Не помню, как мы там очутились. Чтобы не ответить, не обдумав, насчет возвращения в Россию, я сказала, что, ожидая его, узнала окно его комнаты. «Как узнали, ведь вы никогда тут не были?» — «Ваша сестра мне сказала, что вы не терпите мух в комнатах и вам поставили на окно металлическую сетку». Он засмеялся, и стало легче — ничего не надо было решать немедленно, а главное — не покинуть полковника. Как я осмелюсь отнять у него — измученного, больного, одинокого, все потерявшего — нашего сына? Я говорила о чем попало, не помню, о чем; я даже забыла поблагодарить тебя за то, что открыл передо мной, о себе не думая, засов моей тюрьмы. Одно, помню, сказала: «Вы приоткрыли для меня клетку одной тюрьмы, но я попаду в другую». — «Вы

боитесь возвращения?» — «Боюсь. Даже мечтать боюсь: вдруг ничего не выйдет? А выйдет, буду еще больше бояться... может быть, и не отважусь. Не будем говорить об этом тут и сейчас». Но тут и сейчас я сделала неосторожное, самое меня испугавшее движение: прижала голову к его груди. Он испугался не меньше меня, даже отодвинулся и посмотрел мне в лицо, как бы проверяя, в нормальном ли я состоянии? Я не знаю, что он в нем прочитал, но он взял его обеими теплыми, на всю жизнь такими дорогими мне ладонями и с такой взрослой силой прижал к себе, что у меня закружилась голова.

Твоя страсть с чуждой мне, испугавшей меня ненасытностью, наше одновременное ликование и мой стыд — мучительный стыд перед самой собой, тобой, мужем, сыном — все перемешалось во мне... Мы решили возвращаться тоже врозь, и я шла вечность вниз под гору; куда мучительнее, чем два-три часа назад поднималась. Я смотрела себе под ноги, чтобы не читать в лицах встречаемых явное понимание того, что случилось со мной, ведь это было видно в тяжести моей походки, в горящем лице, пересохших губах... как вернуться домой в таком состоянии? Как смотреть в глаза родного мальчика? Вся исполненная любовью и страстью, я была одновременно самая несчастная, самая жалкая женщина в мире. Ну кто мне поверит во второй половине моего века, когда перейти из постели в постель, из объятий в объятия легче, чем пересесть на другое место. Не верьте! Мне все равно! Тот мой стыд, и радость, и отчаянье я воскрешаю в себе со всеми душевными и физическими ощущениями, как только еще одно переживание: рождение моего сына. Роды. И мне кажется, что, если бы все женщины могли пронести в памяти так отчетливо и муки, и ликование родов, и ликующий страх первого оргазма — через всю длинную жизнь — еще меньше женщин отважилось бы рожать. Зато еще больше — менять любовников. Одно скажу в оправдание моего отнюдь не домостроевского времени: сестра, на четыре года меня моложе²⁹, была полной противоположностью мне: ни моей стыдливости, ни моих терзаний совести у нее не было с детства, и она смеялась надо мной, когда я говорила: «Затяни шторы, тебя студенты из своего окна напротив видят». Она отвечала: «Как им не стыдно смотреть в чужие окна? Ты их должна стыдить, а не меня — я у себя».

Ту ночь я провела на полу подле колес (постельки все еще не было) колясочки Шурика, прижимая мокрый от пота и слез лоб, все еще

горящий стыдом, к стальным спицам изо всех сил: чтобы еще больше было и чтобы остыли — и лоб, и стыд.

На следующий день я написала письмо твоей матери, прося временно не рассчитывать на меня из-за предстоящих экзаменов. И в университет решила до экзаменов не ходить. Было трудно, тоскливо, но я несла не без храбрости тяжесть собственной казни. Как подумаю о тех днях, я и теперь так же отчетливо слышу удары твоего сердца, которые сбили меня с толку, когда я прижалась щекой к твоей грудной клетке. И так же отчетливо вижу упрек на личике и в светлых глазах как бы не узнавшего меня сына... Годы проходили, менялась жизнь, множилась, ширилась, забывалось одно, уступая место другому, но удары твоего сердца я буду считать в течение пятидесяти лет... и не всегда считать, может быть, но всегда прислушиваться к ним до самого последнего, 126-го удара в минуту, который замер под моими омертвевшими пальцами, сжимавшими твою узкую, уже неживую руку. Было 3 часа и 40 минут пополудни. Было воскресенье. В то утро прилетела из Парижа повидать тебя, помочь мне Лени Балтази, и я к ее груди прижала в тот день мое отчаянье. За это, я знала, что буду благодарна ей до гроба — до моего, конечно, ведь я была старше ее на двадцать лет! (Но оказалось, что до ее — она умерла месяц тому назад, в августе 1987-го, когда я просматривала эти страницы.) Еленакиму, Лениму, как я называла ее, подражая пушкинскому подражанию байроновскому посвящению гречанке: «Zoemu — жизнь моя — я люблю тебя». По-гречески, помнится, кажется, правильно: «Zoemu sos agapos»³⁰.

Мы познакомились в начале осени 1921-го, поженились в Вене, когда я вернулась из Ленинграда, в июне 1926-го, а эти пять лет перегружены были, как подводы русских дачников в старину, перевозившие все нужное. Неизвестно, какой силой держался на этих подводах хозяйский скарб, походивший на пивную пену над баварскими кружками. На шаткой и ненадежной массе матрацев, корзинок, чемоданов, сундучков, картонок качалась наша кухарка или нянька. Первую, флегматичную финку, удерживала, очевидно, сила земного притяжения; вторую, мамину няню, — всепожирающее честолюбие. Отвоевав у кухарки место на подводе, она лезла на гору с помощью подводчиков, швейцара,

старшего дворника, досужих прохожих и, устроившись, смотрела на бренный мир с высоты: «Совсем другое дело на всех вас сверху глядеть! Букашки!»

На такой переполненной кружке брожения удерживалась и я кое-как в те ленинградские годы. Было голодно, холодно, темно, иногда страшно, часто трудно, но и весело глядеть на мир сверху и со стороны, как няня.

Вот почему, мой незабвенный друг, я всегда твердила, а ты протестовал, что до нашей встречи в 1921 году вся твоя жизнь была сплошным привольным детством, какое детям больших городов и во сне не снилось, а уж подавно нам — выброшенным революцией из детской прямехонько в наш новый удел — голод, холод. Ты любил оглянуться назад, вспомнить детство с братьями, а мне о своем разговаривать было не с кем, вспоминать трудно — так глубоко я засунула уцелевшие лоскутки. Твои двадцать с лишним лет без меня вызывали во мне что-то похожее на ревность, а то я вдруг обвиняла себя, как покинувшая своего ребенка мать, обиды, горести, болезни (ведь все это было у тебя — без меня). Двадцать один год без меня! И главное: ничто в той твоей жизни, кроме молодой, страстной любви к русской литературе и интереса к русской революции, не позволяло предвидеть моей роли в ней. А в моей даже таких предзнаменований не было, если не считать названия города, в котором мы встретились: я спутала его на экзамене с Ваграмом, запомнив только его австрийское имя — Аграм. Уже поселившись в нем, нашла в одном из стихотворений Бунина строфу, где «худой измученный цыган» плетется по одесскому лиману с тоскливой думой о родине: «Ты далеко, Загреб». Что цыган мог случайно, проездом, родиться в Загребе, что приличной рифмы или ассонанса к «хлебу» Бунин не нашел — верю, но что цыган мог тосковать по этому чиновничьему, типично австро-венгерскому в те далекие времена, чинному городу — не только не поверила, вслух рассмеялась³¹.

— Детство в Сиске я любил — вы правы; дети счастливее в маленьких городах, где все свое, хорошо знакомое, где каждая улица и берега реки, и все сады продолжение вашего сада, и во всех домах ты свой. Двадцать один год моей жизни уместились бы в нескольких строчках. Когда мне было два года, моему детству был нанесен двойной

удар — рождением близнецов и смертью моей семилетней сестры Веры. Третий удар — когда мне было десять лет: отправка в гимназию в Беловар³² (в Сиске гимназии еще не было). Три года медицинского факультета; плеврит — год в Давосе; переход на юридический... все это мало, конечно, но у Толстого было ненамного больше, чтобы написать «Детство» и «Отрочество»³³.

Я подумала о моем детстве, куцем, уродливо урезанном, как хвост добермана; о пути, пройденном от Екатерининского канала в Петербурге³⁴ до этого Загреба-Аграма, а вслух сказала:

— И это все?

— Как все? — Ты удивился. — По-вашему, мало? Мне двадцать один год! Конечно, я старше своего возраста, но...

Я перебила:

— В двадцать один год мы все старше своего возраста...

Ты пожал плечом:

— Все зависит не от частоты меняющихся вокруг нас кулис и даже виденного и пережитого, а как видел и переживал.

— Да, пожалуй, но все-таки двадцать один год райской безмятежности, мне кажется, долго и немного скучно. Как Адаму должно было быть до яблока познания. Или зла? — Вопрос добавила осторожно, чтобы не выдать своей неуверенности, какое оно было, то яблоко познания — философское или катехизическое?

— А вы, если бы были Евой, как бы себя рассматривали: познанием или злом?

— Скорее познанием. За почти столько же лет я прожила длинную человеческую жизнь.

— Не прожили, а подавно не пережили — невидимая рука передвигала вас на шахматной доске. Были трудности, и немалые; обиды, страх, лишения, но мне почему-то кажется — не обижайтесь — все стекало с вас, как вода с булыжника.

— Булыжника? Чтобы не сказать: гуся? (В глубине души я действительно обиделась: он явно считал меня поверхностной.) Гуся? Я угадала, сознайтесь.

— Угадали, — сказал он с обворожившей меня улыбкой, — впрочем, кто знает, стекает ли она быстрее с гуся, чем с гладко отшлифованного камня? Гусь тряхнет крыльями и сух, а булыжнику и этого усилия не нужно.